

Бесцельно колеся по городу, Чернышев незаметно для себя оказался в центре, рядом с важнейшими муниципальными зданиями, включая УВД. Тут поневоле сбавишь скорость, чтобы не нарваться на неприятности, поэтому Андрухина «ласточка» пошла плавнее, спокойнее, в лобовом стекле уже не метались в страхе, а торжественно проплывали отблески фонарей. Потихоньку проезжая мимо главной площади, Андруха разглядел посреди подавляющего безлюдным масштабом пространства одинокую мужскую фигуру, застывшую перед памятником Ленину. Со стороны казалось, что ироничный скульптор водрузил лицом к лицу два изваяния: циклопический черный вождь с простертой дланью и маленький серый человечек, задравший голову. Несмотря на некоторую карикатурность, в этой картине была своя гармония — величие подчеркивалось малостью, а незначительность получала оправдание через приобщение к грандиозности. Однако, что за странный субъект мог бы так благоговейно замереть не под балконом возлюбленной, а у монументального воплощения официальной идеологии?

«Пьяный, поди», — подумал Андруха и резко затормозил. Он опустил стекло, высунулся в окошко.

— Э, мужик! — крикнул Андруха. — Скажи: «да» или «нет»?

— Да! — твердо и четко отозвался незнакомец, даже не повернув головы.

## VII

Рогов не обернулся ни на скрип тормозов, ни на внезапно и безосновательно брошенный ему в спину вопрос, ни на звук отъехавшего автомобиля. Ответил машинально, передернув плечами, словно отгоняя назойливую муху, и забыл — ничто не должно было отвлекать от главного.

Вообще, Рогов был человеком позитивного склада, поэтому слово «да» нравилось ему гораздо больше, чем «нет». Сам Рогов называл свое мироощущение «оптимизм», что было ошибкой лишь в грамматике, по сути же верно отражало его жизненное кредо, в котором обиходная жовиальность и повседневная мажорность базировались на научно обоснованном историческом оптимизме, отчего приобретали черты безотчетного мистицизма. Рогов иногда путался в мудреных терминах, которыми старался уснастить свою речь (справедливости ради следует отметить, что он не столько любил козырнуть в разговоре заковыристым словом, покрасоваться перед собеседником, сколько добросовестно вникал в значение звучных и придающих су-

ществованию осмысленность вокабул, штудировал словари, часто делал выписки), однако четко усвоил: понятие, обозначающее определенную идейную позицию, обязательно должно завершаться суффиксом «изм». Ну, и корень хотелось бы употребить похожий на нужный. А лингвистические тонкости, оттенки значений, вопросы паронимии для вооруженного всепобеждающей марксистско-ленинской теорией сознательного строителя коммунизма, каковым являлся Рогов, не столь уж существенны. Причем, отдававшее казенщиной словосочетание «строитель коммунизма» он с полным правом применял к себе буквально, поскольку и на стройке работал, и в коммунистической партии состоял.

Впрочем, не в том дело, что состоял... Сколько формально числящихся на партийном учете товарищей по существу ничего общего с коммунизмом не имеют! В этом Рогов неоднократно убеждался, это была его главная в жизни, постоянно изводящая боль. Лекарство же находилось единственное: чтобы избавиться от подступавшего порой к горлу тошнотворного комка изнеможения, чтобы беспощадно давить копошащиеся в душе эмбрионы сомнений, чтобы не сломаться под напором безыдейности повседневной рутины, требовалось хоть на несколько минут зримо, осязаемо приобщиться к мировоззренческой громаде, ощутить нерасторжимую связь поколений революционеров, от зачинателей великого дела до идущих на смену продолжателей. Как, периодически заводя механизм, поддерживают хронометр в рабочем состоянии, так и Рогову причащение к высоким идейным ценностям позволяло сверить тиканье своих капризных наручных часиков с непреложно точным громом кремлевских курантов, покрывавших всю планету переливчатой мелодией «Интернационала». И это не фигуральное выражение. Рогову однажды довелось эту сверку провести в действительности, оказавшись на Красной площади.

Он приехал тогда в Москву, чтобы посетить Мавзолей Ленина, и попал на знаменитую брусчатку на исходе ноябрьской ночи. По первой поземке Рогов споро двигался вдоль Кремлевской стены мимо выведенных усилиями хитроумных селекционеров елей с хвост, не встречающегося в естественной среде державного оттенка, торопливо приближался к гранитной ступенчатой пирамиде, чей священный покой хранят заступившие на Пост номер один воины, трепетно-неподвижные, как и диковинные ели особого назначения. Рогов, спешивший занять очередь к телу вождя, на ходу поглядывая на циферблат своего «Полета», про себя отметил: «О! Пять часов уже!» Вот тут-то и разразилась музыка высших сфер. Рогов непроизвольно вздрогнул и приостановился. Плеск густого потока небесной металлической реки вмиг затопил простор майдана, а затем медленным пульсом грянули пять ударов. То было биение сердца Вселенной. Каждая затихающая с отяжкой пульсация молотом вбивала Рогова в землю. Внезапно оказавшийся махоньким, словно шляпка гвоздя, Рогов по-новому, с неожиданного ракурса, увидел мир. Циклопическая Спасская башня ожила и тяжело задышала гигантскими механическими легкими, площадь вдруг раздалась безбрежным морем, а Рогов погрузился на дно его и оттуда, заметаемый легким снежком, разглядел уже где-то в стратосфере наверху кремлевских бастионов, а над ними — космический корабль с надписью на борту: «СССР». Мгновенно и убедительно сделавшаяся очевидной собственная ни с чем не соразмерная микроскопичность не удивила Рогова. Удивления достойно было другое, то, что такому ничтожеству, как он, вообще дозволено перемещаться по святому месту и глядеть своими зенками на пятиконечные рубиновые звезды. В этот миг Рогов ощутил, сколь радостно было бы навсегда забиться холодной порошинкой в стык между камнями великой мостовой, внедриться малой капелькой в сакральную почву и вечно пребывать здесь, созерцая лишь подбитые подковками рифленые подошвы сапог печатающих шаг часовых, траки гусениц бронетехники парадных расчетов и стертые подметки сандаличков принимаемых в пионеры малышей.

Рогова преобразила нежданно открывшаяся грандиозная картина потаенной сторо-

ны мироздания. На секунду показалось, что перед его глазами промелькнули несколько страниц документа с грифом «Совершенно секретно! Гостайна!» Рогов готов был предположить, что пережитое им благое потрясение может испытать либо идущий во Дворец съездов делегат, либо триумфатором, поднимающийся по лестнице Большого дворца герой советского спорта, либо выходящий из Кремлевских ворот орденосец, смущенно поправляющий пиджак, украшенный ослепительно сияющей, словно елочная игрушка, наградой... Но чтобы ему, может быть, самому непримечательному из миллионов граждан державы, так явственно дано было почувствовать себя Гражданином, ради которого заступают на боевое дежурство расчеты баллистических ракет, взламывают неприступные торосы атомные ледоколы, пробивают тоннели строители Байкало-Амурской магистрали,— этого предположить Рогов раньше никак не мог. Оказалось, что, ступив на Красную площадь простецким работягой из заштатного городка, уходишь с нее сознательным пролетарием, гегемоном. Невероятно! Впечатление было столь сильным, что, пожалуй, затмило даже само посещение Мавзолея.

Рогов впоследствии силился восстановить мельчайшие детали дальнейших событий, но многое странным образом стерлось из памяти, словно бы кто-то нарочно мешал ему. Рогов помнил что, сперва пришлось невероятно долго ждать начала допуска к телу вождя в длинной веренице разношерстной публики. Отыскивая свое место в этой колонне, Рогов все дальше и дальше уходил от Мавзолея, казалось, что он почти обогнул Кремль, а конца «хвоста» так и не видел. Охватывала оторопь: хватит ли на всех Ленина? Смогут ли собравшиеся здесь люди сегодня попасть в Мавзолей? А завтра? А через неделю? Впрочем, Рогов готов был стоять сколь угодно долго — приехал-то он в столицу в праздничные дни; да у него еще и отгулы были, на работу не скоро... В конце концов, это же главная очередь в стране. Она и должна была поражать воображение своими пространственно-временными масштабами. Словно со всех краев государства советского слетелись сюда призраки других очередей, частных или ритуально-торжественных, хитровато-блатных или жиренно необходимых, склочных или отрешенно скорбных. Проверая, не стерся ли номерок на руке, спешила сюда солдатка, чтобы отоварить карточки военного времени, и неожиданно сталкивалась с пузатым джигитом, перекупающим очередь на новую «Волгу»; москвичи, задавленные на похоронах Сталина, молча вставали в затылок за говорливыми одесситами, волнующимися перед дверями ОВИРа; хмурые мужики из очереди к пивному ларьку стояли вперемешку с очкариками, пришедшими сдавать макулатуру в обмен на подписное издание; какой-то нытик из очереди к зубному врачу одним своим видом портил настроение разбитной компашке из очереди у входа в ресторан; школьник, отправленный мамой в очередь за молоком, нетерпеливо размахивал бидоном, в котором погромывивала «мелочь», невероятно раздражая тем страдающую мигренью старушку, которую дочь ежедневно гнала к мебельному магазину, чтобы отмечаться в очереди на «Селену»... Сколько же их тут было, этих фантомных очередников!..

Однако Рогова неприятно поразили очередники реальные. Они показали себя... излишне легкомысленными, что ли... Словно и впрямь собрались, ожидая открытия универмага: переминались с ноги на ногу, похлопывали руками по плечам, чтобы согреться, некоторые и вовсе устраивали небольшие пробежки. У кого-то в сумке оказался термос с горячим кофе, кто-то ел бутерброды... Рогову подобное в голову не могло прийти. Он замер смирно, чуть понуро, изредка делая полшага вперед, если сдвигались стоявшие перед ним люди. Да, было холодно, неуютно, но это приносило даже какое-то облегчение, ибо соответствовало серьезности момента. Разве считались с лютой январской стужей рабочие, пришедшие в двадцать четвертом году на похороны Ленина? Да только лишь из уважения к их великому горю Рогов готов был отморозить пальцы!

Из-за плеча то и дело показывалась голова какого-то общительного гражданина, который все допытывался у Рогова, откуда тот приехал, предлагал познакомиться...

Рогов поначалу ему отвечал, но потом замолчал, перестал оборачиваться, надеясь непритворной суровостью напряженного затылка вразумить болтуна, дать понять, что они тут не на соседской завалинке, а на пороге одной из мировых святынь, и вести себя следует подобающе. И как только неослабевающим ознобом схватило шею, спину, ноги, снова выплыли из прошлого траурные марши и паровозные гудки двадцать четвертого года, унесли Рогова прочь от погрязших в обывательщине современников... Очень важно было отключиться от сбивавших с возвышенного настроения впечатлений, сосредоточиться на главном, а то душа изболелась бы в этой несерьезной очереди.

Наконец, над погружавшейся в сонливое оцепенение продрогшей колонной пролетел облегченный выдох: «Открыли!». Раздались радостные возгласы, кое-кто хлопал в ладоши. Нездоровое оживление вывело Рогова из задумчивости и заставило скроить недовольную мину: опять все как-то неприлично, словно открыли не алтарь, а лабаз. Однако начало движения, оказавшегося гораздо более ходким, чем можно было предположить, воодушевляло, внушало восторг нарастающего нетерпения. И пусть очередь продвигалась с внезапными остановками (то официальные делегации пропускали, то просто сдерживали больно резво пошедших людей), это уже представлялось досадным, но пустяком: теперь каждая минута зримо приближала к встрече с легендой.

Показалось, что в единый миг очередь пронесла Рогова по краснокирпичной дорожке через весь державный палисадник — мимо клумб, грота, лавочек, мимо Могилы Неизвестного Солдата, — затем людской поток через кованые ворота дивной красоты втянулся в теснину между решеткой сада и скалообразным зданием Исторического музея, и вот уже видна трибуна Мавзолея. Рогова вдруг продернула конвульсивная дрожь. Не то, в самом деле, до костей продрог на холоде, не то охватывал лихорадочный экстаз: вот уже скоро, вот сейчас... А вместе с тем, в недрах души фиолетовым цветком распускалась грустинка, ибо, судя по тому, с какой скоростью движется очередь, можно было понять, что у заветного саркофага Рогову ни на секунду не разрешат задержаться. Он просто пройдет рядом со святыней, а этого мало, потому что надо же насмотреться вволю, запечатлеть в памяти нетленный образ Ленина, постоять в скорбном молчании, склонить голову. Рогов видел по телевизору, как патетично это происходит, когда в дни всенародных торжеств руководители КПСС и советского государства, представители братских партий, иностранных держав возлагают венки к Кремлевской стене, склоняют головы... Ладно, пусть более достойные товарищи склоняют головы, Рогову хотя бы одним глазком посмотреть на гроб с телом вождя...

На подступах к Мавзолею наблюдавшие за порядком милиционеры дробили людей на группки, которые порционно втягивались в огороженный металлическими барьерами коридор. Вот и Рогова вежливо, но требовательно придержали за рукав, потюпали малое время, формируя очередной экипаж, а затем вместе с остальными отправили в свободное плавание по каменной зыби мостовой.

Ступив на Красную площадь, Рогов вновь убедился, что здесь метафизически трансформируются обыденные представления о времени и пространстве. Пока он стоял на месте, чудилось: до Мавзолея рукой подать, а стоило начать движение — оказалось, что надо преодолеть еще довольно приличное расстояние. Секунду назад он мысленно поторапливал очередь, нервничая при малейшей задержке, а теперь сам замешкался, непостижимым образом отстал от своей команды. Рогов растерялся («А одному-то можно?») и в нерешительности крутил головой, глядя то на удаляющиеся спины бойцов не заметившего потери отряда, то в исполнившиеся вдруг ироничным благодушием лица тех, кто уже необратимо исторг его из своих рядов. Наконец, стоявший ближе других коротко стриженный светловолосый милиционер (он напускной суровостью изо всех сил старался соответствовать значительности своей мисси, но

блестевшая в глубине васильковых глаз улыбка выдавала бесшабашную рязанскую натуру) всплеснул руками, словно отгоняя невидимую птицу, и Рогов полетел догонять ушедших.

Как заблудшая, метущаяся меж двумя мирами душа, получив отпущение, обреченно устремляется в predeterminedенный ей предел, так и Рогов резко рванулся вперед. Однако нелепая суетливость его действий вызвала неудовольствие и, пожалуй, даже гнев окружающей монументальности: нахмурилось небо над Красной площадью, насупились Кремлевские башни, а здание ГУМа безгловливо поморщилось. Рогов немедленно сам себе дал укорот: «Помни, где находишься! Может, еще вприпрыжку поскачешь?» Но двигаться степенно, соблюдая в самой поступи приличествующий моменту траур, не представлялось возможным: группа, к которой Рогов был приписан, неумолимо отдалялась, ему же почему-то становилось с каждым шагом все труднее идти, словно ноябрьский ветер, резко толкая в грудь, отбрасывал его назад. Рогов на преодоление все-таки ускорился, несмотря на опаску услышать одергивающий милицкий свисток и, не почуввав за собой никакой погони, перешел на бег.

Бежать по Красной площади! Что за ошеломительное ощущение! Рогов будто попал в какой-то величественный аттракцион, в какой-то эпический кинофильм, в котором исполнял центральную роль, пока прописанную сценаристом лишь начерно, но, безусловно, героическую — не то браво перепоясанного пулеметными лентами революционного матроса, не то красногвардейца, бегущего с винтовкой в руке, чтобы выбить из Кремля засевших там юнкеров. И, похоже, сценарий предполагал, что главного героя смертельно ранили в том бою, и, вроде бы, похоронили у Кремлевской стены; даже траурный митинг мелькнул перед Роговым, но общим планом, несколькими кадрами, так что нельзя было определить, кто перед недвижимым строем сподвижников произносил пламенное надгробное слово: товарищ Подвойский или товарищ Подбельский... Словом, Рогов выпал из реальности, полностью погрузился в мужественно-романтические мечтания и долго еще пребывал бы в мире грез, если бы с разбегу не наткнулся на чью-то спину.

Очнувшись, Рогов обнаружил себя у самых ступеней Мавзолея. До цели его поклонничества оставалось всего несколько шагов. Через минуту должно было свершиться то, чего он так страстно жаждал, к чему так долго готовился. Но, против ожидания, нового всплеска эмоций не последовало. Рогов не возликовал, а, наоборот, впал в оцепенение. Испытавший столько треволнений за короткий срок, измученный всем пережитым, наш политический пилигрим больше не в состоянии был реагировать на происходящее: мозг отказывался воспринимать, а душа — сопереживать. Рогов почувствовал, как по щекам его катятся медленные соленые капли. На большее сил уже не хватило.

Словно повинувшись чьей-то чужой воле, Рогов вслед за другими поднялся по ступеням, прошел мимо недвижимого почетного караула — золотые пуговицы на шинелях тускло блеснули сквозь проступившие слезы... Показалось, что и внутри Мавзолея повсюду окаменели солдаты. Или это лишь привиделось?.. В траурном тумане, заполнившем главный зал, Рогов ничего не смог разглядеть как следует: мешали влажные осколки черных бриллиантов, подрагивавшие в зрачках. Хрусталь и золото отделки саркофага на мгновение ярко вспыхнули перед глазами и тут же, преломившись в радужных шариках, повисших на ресницах, расплылись, прежде чем Рогов успел подробно рассмотреть открытый гроб, поразивший компактностью. Затяжные взмахи слипавшихся век не давали запечатлеть в памяти целостный облик лежавшего в гробу вождя, око выхватило из темноты лишь две детали: галстук в горошек да медные волосы покойника... А потом неостановимая очередь вынесла Рогова на белый свет...

Покидающие траурный зал люди напоминали зрителей, выходящих наружу из кинотеатра после дневного сеанса. Они близоруко шурились, часто моргали, неволь-

но закрывались ладонями от неярких, но всепроникающих солнечных лучей. Не у одного только Рогова слезились глаза, но, пожалуй, он единственный во всей этой случайно возникшей и недолго просуществовавшей общности, секунду назад монолитной, а теперь стремительно распадающейся на чужеродные друг другу человеческие атомы, плакал открыто, не стесняясь, не скрывая этого.

Рогов почти рыдал, пока они все вместе шли вдоль Кремлевской стены. И оказавшись один в шумливой, разноязыкой толпе на Красной площади, он по-прежнему не мог сдержаться, хотя и ловил на себе недоуменные взгляды беспечных туристов. И даже дойдя до метро, даже спустившись в него, Рогов не утирал глаза, из которых все еще сбегали временами крупные капли. Горделивая апатия овладела им: «Пусть все видят. Пусть... Может, кто и догадается, поймет... Да-да, это правильно. Пусть видят!»

Возвратившись из поездки в столицу, Рогов долго тосковал: ему не хватало мощных московских впечатлений — и восторга, пережитого им на Красной площади, и экстатических слез у Мавзолея. Но вот однажды, бесцельно слоняясь по вечерним улицам родного города, Рогов оказался на главной площади рядом с памятником Ленину и вдруг поймал на себе живой взгляд статуи... То ли освещение в этот поздний час было особым, то ли в чем-то другом дело, только Рогова вновь пронзило уже бывавшееся ощущение кровной, нерасторжимой связи с величием коммунистической идеи и советского государства.

С тех пор зародился у Рогова особый, можно сказать, секретный ритуал. Когда на сердце делалось тоскливо и пусто, он приходил на площадь (позже, чтобы не сновали вокруг праздные зеваки) и занимал на ней одному ему известную позицию. Если застыть здесь в самочинном почетном карауле на достаточно продолжительное время (до тех пор, пока не начнешь растворяться в навеваемой ощущению абсолютной покинутости пустоте пространства, как кусок рафинаду растворяется в стакане крепкого чая), то уловишь, что вождь своим каменным оком различает тебя. Гранитный зрак Ленина внезапно вздрагивал и медленно фокусировался на оцепеневшем у его ног человеке, а Рогов стоял ни жив ни мертв, боясь, как бы статуя не испепелила его молнией, трепетавшей на циклопических веках, вытесанных из благородной горной породы. Исходившая от памятника угроза воспринималась настолько реальной, что Рогов явственно слышал потрескивание высоковольтных разрядов, а иногда даже видел искры, мелькавшие над полутемной площадью. Да, страх был велик, но и без периодического предстояния пред монументальным ликом вождя Рогову уже не удавалось успокоить нервы и ощутить себя полноценным членом общества. Раз в неделю-другую необходимо было явиться к постаменту, исполнить тихонечко, только себе под нос, песню революционного содержания, вспомнить хорошее стихотворение: «Товарищ Ленин! Я вам докладываю не по совести, а по душе...» Или как там?..

Но дороже всего Рогову было личное общение с кумиром. Дома имелась заветная пластинка с записью голоса Ильича, которая в иные минуты бережно возлагалась на диск старенького проигрывателя, чтобы воспроизвести живое слово вождя. И вот Рогов придумал такую... игру что ли... Нечто вроде гадания по книге: включив пластинку, максимально убавлял громкость и задавал самый насущный для себя вопрос, после чего, резко крутанув рукоятку регулятора, моментально врубал звук, чтобы внимать ответу. Так теплилось чудо непосредственной беседы с Лениным. Пусть из-за плохого качества фонограммы не все сказанное им можно было разобрать, пусть не всегда удавалось правильно интерпретировать пророчество. Не это было главным. Важнее, что сам строй ленинской речи, заключенные в ней обаяние и энергия вливались прямо в сердце, заряжая революционным задором.

Вообще, Рогов прилежно изучал бесценное наследие Владимира Ильича, которое стараниями советских ученых было систематизировано, откомментировано, опубликовано и вот даже переведено в формат фонохрестоматии. Серьезным под-

спорьем в овладении политграмотой стало бы для Рогова полное собрание сочинений вождя, состоявшее из 55 томов в синих кожаных переплетах с красивым золотым тиснением и выпуклым профилем автора на обложке. Но о таком роскошном издании рядовому коммунисту оставалось только мечтать, ибо предназначалось оно не для частных лиц, а для ленинских комнат, библиотек и кабинетов ответственных работников, в которых, правда, великолепный многотомник стоял невостребованным, превращаясь со временем в пыльный и абсолютно бесполезный декор. Рогову же пришлось довольствоваться разрозненными и разноформатными книжечками под тоненькими бумажными обложками. Впрочем, его это обстоятельство ничуть не коробило. Демократичные по цене и оформлению брошюры располагали к активной работе над произведениями классика, что невозможно без многочисленных закладок, подчеркиваний и значков на полях, а испещрять ими плотную, шероховатую (на ней бы деньги печатать!) бумагу знаменитого «ПСС» рука не поднялась бы.

Однако даже при помощи системы продуманных помет постижение основ ленинизма давалось Рогову нелегко. Тексты, которые следовало бы считать образцами гармоничного единства формы и содержания, при чтении почему-то рассыпались на разрозненные фрагменты, абзацы, предложения, абсолютно не соответствовавшие понятию «первоисточник», ибо воспринимались они как нечто вторичное, отзывались эхом давно знакомых цитат. Рогов не мог не согласиться с тем, что цитаты важны, что одна ленинская фраза легко обнажает корень любой проблемы, и в то же время постоянное автотранслирование идейного наследия вождя удовлетворения никак не вызывало.

Само собой разумеется, на шестьдесят шестом году революции давно уже было выработано эталонное понимание сути учения. Сотрудники Института марксизма-ленинизма, составляя комментарии для многочисленных изданий, пропагандисты идеологического отдела ЦК КПСС, готовя тезисы отчетного доклада на ближайшем съезде, действующие политики, размышляя о своих державных трудах,— все они опирались на выверенную и безошибочную трактовку гениальной теории. Даже если возникала необходимость (а в советской истории она возникала часто) существенно скорректировать интерпретацию заветов Ильича, в тесном кругу обитателей коммунистического Олимпа это не вызывало ни затруднений, ни замешательства. Под руками опытных жрецов ленинское наследие кардинально преображалось, чудесным образом оставаясь целостным и ясным, более того, сверкало новыми гранями, в очередной раз доказывая всему прогрессивному человечеству свою неисчерпаемость.

Такая удивительная метаморфоза одновременно и восхищала, и обескураживала Рогова. Ему страстно хотелось разгадать секрет виртуозного идеологического фокуса, однако все попытки оказывались тщетными. Несмотря на вездливое, придирчивое, доводившее до иступления перебирание испестренных пометками брошюрок, Рогову никак не удавалось текстами «первоисточников» подтвердить закономерность очередных колебаний линии партии, отыскать в трудах Ленина прямое и недвусмысленное обоснование изощренным извивам новейшей государственной политики.

А вот агитпроп, аргументируя необходимость нововведений, постоянно и громко ссылался на классика, укореняя в обществе образ вождя-провидца, не знавшего сомнений и промахов. Рогов старался, можно сказать, заставлял себя полюбить Ленина таким, каким предписано было его любить правоверным коммунистам. Безуспешно! Рогову, который как никто другой (до мистических видений) прочувствовал монументальную громадность основателя первого в мире государства рабочих и крестьян, всегда казалось, что восхищения в большей степени достоин не памятник, а реальный исторический деятель, пусть даже иногда допускавший просчеты, но теплокровный. Великий, но именно живой человек был ближе, дороже, роднее.

В одномерном, плоском, как картонка, официально «залитованном» идеале Рогову не хватало, например, ленинского юмора. То, что Ленин не чуждался комического,

стало для Рогова открытием сколь неожиданным, столь и ошеломляющим. Некогда, впервые распознав в каком-то абзаце веселую подоплеку, Рогов отказывался поверить в справедливость своей догадки: «Не может быть! Бред! Памятники не умеют шутить!» Но чем больше читал, тем вернее убеждался: при всей глубине и глобальности рассуждений в сочинениях Ленина неизменно сквозил хороший человеческий юмор. И не только как средство сатиры на политических противников, но и как несколько парадоксальный способ мышления выдающегося философа. Новый штрих к портрету кумира наполнил содержательной глубиной знаменитую улыбку Ильича, сделал его образ еще милей. С какой радостью обнаруживал теперь Рогов рассыпанные по страницам глубокомысленных работ искры высокого смеха, с каким удовольствием примечал в серьезных трудах то умную язвительность, то острое словцо. Наткнувшись на такое место в тексте, Рогов на несколько секунд отрывался от книжки, с радостным восхищением восклицал про себя: «Гений! Гений!» И потом с новым приливом энтузиазма вновь принимался за чтение.

Но в целом Рогов был собой недоволен: восприятие статей Владимира Ильича оставалось фрагментарным, внутренне непротиворечивая картина учения в голове так и не сложилась. Рогов сердился на себя, за то, что никак не ухватит сердцевину, зерно ленинизма. Он опасался, что скоро сломается, пошлет всю политику к такой-то матери, сорвется в запой. Но усилием воли брал себя в руки, снова и снова вгрызался в книги, конспектировал кое-что — опять безрезультатно. Приходилось все-таки довольствоваться цитатами: «Учиться, учиться и еще раз учиться», «Если я знаю мало, то добьюсь того, чтобы знать больше». Простые, лаконичные формулировки. Обнадёживающие.

«Кругозор узок!» — к такому выводу приходил Рогов и брался за Маркса с Энгельсом, но там вообще мало что понимал. «Подготовочка слабовата!» — резюмировал Рогов и обращался к чтению работ великого продолжателя дела Ленина Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева. Снова неудача: каждое отдельное предложение ясно — общий смысл не воспринимается. Целостно усвоить удалось только «Малую Землю», «Возрождение» да «Целину».

Стремясь во что бы то ни стало получить надежный идейный маяк, сверить направление своих умственных блужданий с курсом, пролагаемым партией, Рогов обращался за помощью к парторгу стройки, на которой работал. Но руководитель первичной парторганизации, задерганный текучкой до такой степени, что и побриться-то не всегда имел возможность, крайне неохотно общался с Роговым на общеполитические темы, чаще отмахивался, смотрел мутным неприязненным взглядом.

— Слушай, а ты как понял «Детскую болезнь «левизны» в коммунизме»? — спрашивал Рогов парторга.

— Как написано, так и понял, — отвечал парторг, резко мрачней лицом при одном только приближении пытливого однопартийца. — Там же все ясно написано. Мне сейчас некогда, на третий участок сходить надо.

Но Рогов был настойчив:

— Слушай, а вот «политическое завещание»... Там «Как нам реорганизовать Рабкрин»...

— А ты взносы уплатил? — без надежды перебивал парторг. Он знал, что Рогов уплатил.

Когда же во время одной из таких мучительных для обоих собеседников встреч Рогов спросил, каково мнение парторга о «Материализме и эмпириокритицизме», то был нецензурно обруган и через неделю оказался записанным в слушатели Народного университета марксизма-ленинизма.

Приходя по выходным дням на занятия, переступая порог старинного особняка, в котором расположился областной Дом политического просвещения, закрывая за собой тяжеленную дубовую дверь, казалось, воплощавшую своим медлительным хо-



дом солидность и респектабельность, Рогов с наслаждением окунался в атмосферу, прямо противоположную угрюмой грубости, царившей в родной «первичке». Лощенные инструкторы обкома партии, вальяжные сотрудники Дома политпросвета, вступавшие перед разномастной аудиторией с обстоятельными лекциями, неизменно начинали словами «Уважаемые товарищи!», вели себя подчеркнуто корректно, пожалуй, даже с чуть наигранной вежливостью.

Сидя на обтянутом дерматином стуле, украшенном старомодными медными обойными гвоздиками, и растворяясь в присущей профессиональным пропагандистам выпренности, которая, несомненно, была признаком безошибочного, непреложного знания, Рогов просто млеет от удовольствия. Но блаженствовал он лишь на нескольких вступительных занятиях. Когда же схлынули прозелитские восторги, стало очевидно, что лекторы больше напирали на современное международное положение. Текущий момент Рогов понимал правильно: и империализм надо скорее победить в мирном соревновании двух систем, и развивающиеся страны поддержать, и социалистический лагерь укрепить... Никаких сомнений в этом быть не могло. Вопросы у Рогова вызывали отдельные нюансы истории партии, а вот на такие вопросы ответственные товарищи отвечали расплывчато, к «первоисточникам» обращались неохотно.

Рогов, вечно навязывавший лекторам дискуссии, даже получил резкий отпор со стороны куратора группы, в которой обучался. Когда в этом качестве слушателям Народного университета впервые представили статную сорокалетнюю женщину с красивым начесом на шиньоне и хорошо поставленным голосом, Рогов ощутил тот же восторг, который вызывали в нем и массивная дверь, и надежные стулья, и парадная чугунная лестница Дома политпросвета. Однако по отношению к наставнице новоявленный студизус испытывал не только уважительное преклонение, но и некоторую робость. Через неделю-другую эта мучительная смесь чувств выродилась в какое-то пылкое подобострашие. Потом в снах стали являться строгие глаза, прическа матроны с партбилетом, большая грудь, крутые бедра... Женщина словно бы вся состояла из шаров и шариков, мягких, но упругих. Хотелось в них закопаться, почувствовать себя ребенком, играющим с мячиками... Словом, приходилось признать, что Рогов влюбился в свою метрессу. Чувство обострялось заведомой безответностью и безнадежностью, ведь преподавательница разговаривала с ним исключительно деловито, а смотрела всегда сверху вниз (не только потому, что Рогов был невелик ростом, но и в фигуральном смысле). Ни о каких отношениях и речи быть не могло. Рогов это отчетливо понимал, но все-таки старался понравиться даме сердца.

И поначалу это удавалось, она даже ставила Рогова в пример остальным слушателям, которые с явной неохотой отбывали школьную повинность, чаще сидели за пивом в роскошном политпросветовском буфете, чем в аудиториях. Таких нерадивых подопечных гранд-дама наставляла: «Смотрите, как товарищ Рогов активно участвует в работе. Всегда поднимает руку, высказывается!» Однако на третьем месяце занятий после очередного Роговского наивно-заковыристого вопроса она взорвалась: «Вы что, товарищ Рогов, издеваетесь надо мной? Я же вам все, буквально, объяснила! Вы что, хотите извратить учение великого Ленина?!» Приводившим в трепет глубоким грудным голосом, которым в мечтаниях Рогова звали в постель, наяву его поносили, прилюдно и чудовищно несправедливо обвиняли в предательстве! Рогов был просто оглоушен незаслуженной инвективой, словно огромная бронзовая люстра в лектории вырвала покрытую лепниной потолочную розетку и шмякнула его по темени. В полубомороке Рогов пролепетал, что хочет не извратить, а разобраться... В ответ раздалось: «Это с вами надо разобраться, почему вы планомерно срываете процесс коммунистического воспитания рабочего класса!» Больше Рогов кураторше вопросов не задавал, а почтительная влюбленность с того дня обратилась в свою противоположность — безразличие с оттенком цинизма.

Другой, не менее драматичный, инцидент привел к безжалостному изгнанию Рогова из политпросветовских кущей. Один из лекторов, пожилой уже человек с густыми волнистыми сединами, за которыми отчетливо угадывалась прежние смоляные вихри энтузиаста тридцатых годов, был Рогову особенно симпатичен. Привлекали в нем благожелательность, улыбочивость, искренний интерес к собеседнику, светившийся во взгляде. Его похожие на блестящие маслины глаза излучали веселый задор, который в дни комсомольской юности вспыхнул в неискушенном сердце романтика, но с годами не погас, а перерос в осознанную мировоззренческую позицию, основанную на историческом опыте и житейской мудрости. Верилось, что вот этот-то человек, ставший свидетелем великих свершений и великих битв, многое переживший и передумавший, досконально разъяснит все недомолвки, разрешит все терзающие сомнения, чтобы можно было, наконец, без оглядки приникнуть к живительному источнику ленинской мысли, напитаться ею и преисполниться сил для продолжения дела революции.

Жаль только, в расписании занятий лекция этого чудесного старика никак не появлялась. Впрочем, даже случайно встретить его в коридоре было радостью. Едва завидев любимого преподавателя, Рогов издали кричал «Здравствуйте!», а тот в ответ ласково улыбался, отчего удивительные его глаза почти растворялись среди моря благодушных морщинок, и, подойдя поближе, степенно кивал головой. Рогов воспринимал такие взаимные приветствия как установившийся с молчаливого обоюдного согласия ритуал: заранее расплываясь в дружелюбно-глуповатой ухмылке, он каждый раз зычно оглашал стены Дома политпросвета своим «Здравствуйте!», непременно получая вознаграждение в виде благожелательного полупоклона. Это приносило давно забытое детское удовольствие. Когда-то первоклашками вот так же здоровались с учительницей, предчувствуя, что сейчас ответят, и одновременно боясь, чтобы не забыли, как тебя зовут, ответили именно тебе, а если произносилось твое имя, от переполнявших чувств хотелось пройтись колесом или зашвырнуть портфель прямо на небо... Рогову казалось, что и старик, чувствуя восторженную преданность своего слушателя, относится к нему особенно приветливо, почти по-родственному.

Наконец, настал день, когда они раскланялись не в коридоре, а при входе в учебный кабинет. Растянувший рот до ушей Рогов, пропуская преподавателя, застыл в дверях, как сознательный балтийский матрос на часах у штаба революции. Выразительное и подвижное лицо старика излучало всегдашнюю благосклонность: «Ах, вот где учится этот добропорядочный молодой человек! Очень, очень приятно!» Лектор чинно подошел к кафедре, весело оглядел аудиторию, словно солнышком всех согревая, и приступил к священнодействию, воззвав торжественно: «Товарищи!» В устах его это казенное обращение обрело вдруг задушевность; понималось, что здесь собрались и впрямь товарищи: единомышленники, проникнутые взаимным расположением, люди, делающие общее дело...

Кончив, старик предложил: «Задавайте вопросы, товарищи!» Рогов и задал. Потом еще и еще. Он строчил вопросами, как пулеметчик на тачанке, торопился, перескакивал с одного на другое. Рогов понимал, что высказывается сумбурно, но готов был показаться смешным, лишь бы знакомый преподаватель оценил его эрудицию, подкованность в историческом плане и (главное!) равнодушие к сути разговора. Роговские вопросы начинались так: «Почему Сталин?..», «Где был Троцкий?..», «Как мог Бухарин?..» После каждого такого зачина лектор все больше мрачнел, а вскоре и вовсе затосковал. Сначала он отвечал Рогову пасмурно как-то, натужно, но отвечал. Когда же речь зашла о Зиновьеве и Каменеве, лицо старика исказилось судорогой, он затряс головой, отчего прядь седых его волос косо легла на лоб и глаза, расскла лицо серым сабельным клинком. Лектор напряженно ощерился, обнажив стальные зубы. Сразу стало понятно, что в глазах его не благодушие и не мудрость — давний, насто-

явшийся страх. Старик вытянул руку, указывая на Рогова, и чуть согнутый указательный палец его слегка подрагивал. В аудитории зависла предрасстрельная тишина, а через мгновение тонкий дребезжащий старческий голос выстрелил: «Провокатор!»

Рогов навсегда запечатлел в памяти этот момент. Перекошенное лицо ветерана компартии с упавшими на глаза волосами, вытянутая рука, «Провокатор!», десятки недоуменных глаз будущих просвещенных марксистов-ленинцев... Вскоре Рогова отчислили из Народного университета. Более того, были, видимо, приняты еще какие-то негласные решения, поскольку парторг на стройке при встрече с Роговым свежельно багровел и настолько злобно вращал глазами, что подвергнувшийся остракизму несчастливец уже не решался, как бывало, подойти к нему за разъяснениями.

Рогов оказался полностью отлучен от идеологической работы. Ему, как он ни уговаривал прораба, не доверяли даже проведение политинформаций в родной бригаде. Только самоотверженный труд и искусство дали возможность справиться с эмоциями, пережить незаслуженную обиду. С самого утра и до конца рабочего дня (иногда без обеденного перерыва) Рогов ударно гнал кладку, повторяя в уме тексты любимых песен. Орудя мастерком, он задавал себе ритм лирическими строчками:

*Юношу стального поколенья*

*Похоронят посреди дорог,*

*Чтоб в Москве еще живущий Ленин*

*На него рассчитывать не мог...*

Рогову казалось, что он и есть тот юноша в буденовке, тот стальной боец революции, которого похоронили «посреди дорог» («На перекрестке что ли его схоронили? Чего, прямо на дороге закопали? Не совсем понятно... Наверное, все ж таки на обочине. У развилки, где богатыри в сказках на камне читали...»). Да. Так вот, похоронили орла-красноармейца, и пусть теперь без него обходится стоящий у руля страны Ленин («В Москве еще живущий... Это, то есть, после переезда советского правительства из Петрограда в Москву, но до отъезда Ленина из Москвы в Горки на лечение... Или: пока еще живущий Ленин, находясь в Москве, пусть на него не рассчитывает?.. Короче, в Москве пусть на него не рассчитывают...»). Вот и на Рогова руководители партии и правительства больше уже рассчитывать не могли. А жаль! Ведь Рогов много пользы принес бы... Тяжело было на душе. Ладно бы, если б его замучил какой-нибудь озверевший «беляк» из контрразведки. Нет. Свои же товарищи уделали. Те, кого Рогов считал соратниками...

Рогов находился на грани нервного срыва, и только талант и работоспособность деятелей советского искусства помогали оставаться убежденным коммунистом. Чудесные часы проводил Рогов, когда по радио или по телику передавали постановки о революции и гражданской войне. Поэтизация классово-героической борьбы, героика боев за лучшую долю народа неизменно волновала и убеждала в необходимости «плыть в революцию дальше». Рогов жалел лишь о том, что поздно родился, не стал красным кавалеристом, о котором поведали бы миру былинники речистые. Сейчас-то, в эпоху развитого социализма, уже не с кем сражаться (в том смысле, что врагов всех истребили; но и в том смысле, что краснозвездной братвы не осталось, не найти во всей многомиллионной стране даже сотни бойцов, которая поскакала бы на разведку в поля)...

После катастрофы в университете марксизма-ленинизма Рогову стали сниться мутные черно-белые сны, срежиссированные, похоже, Эйзенштейном в сотворчестве с братьями Васильевыми. Виделось Рогову, будто бы он в траншее перед решающей битвой, а вокруг неразличимые, как это бывает во сне, персонажи, которые, тем не менее, близки и дороги Рогову. Он не разбирал ни лиц, ни фигур товарищей, но твердо знал, что они рядом, что это НАШИ. А с фронта на их позиции катятся бесчисленные волны психических атак каппелевцев, мечтающих попрасть великую справедливость, сделать народ вновь угнетенным. Но навстречу ошестинившимся штыками цепям бе-

лобандитов поднимается из траншеи Рогов с красным знаменем в руках. Одними только революционными песнями, насупленными бровями и несгибаемой волей партийца отбивает он атаку за атакой. Пред грозным ликом Рогова мешаются ряды наступающих, рассеиваются и бегут враги. Торжествуя оглядывает Рогов поле сражения и вдруг понимает, что победа призрачна, ибо далась ценой одиночества: нет вокруг никого из НАШИХ. Рогов остался один, а значит — иссякла былинная сила. Почуввав его замешательство, супостаты с ликующими криками вновь набросились на богатыря, стеснили его блестящими остриями штыков. Внезапно Рогов оказывается вознесенным на каменистый утес, возвышающийся над темными водами; Рогов чувствует путы на связанных за спиной руках, ощущает тяжесть неизвестно откуда взявшегося на шее камня, прихваченного грубыми веревками. Угрожающе поблескивающие кончики штыков тычут в лицо, Рогов невольно отступает к обрыву и, нависнув над ним, срывается в пропасть, но не погружается в пучину, а оборачивается почему-то младенцем в ходуном ходящей коляске, несущейся вниз по нескончаемым ступенькам; все вниз и вниз, в самый ад...

От этой inferнальной тряски Рогов и просыпался, просыпался с единственной мыслью: «Что за чушь!» В предрассветной серости он, разбитый, больной, долго не вставал с кровати, не имея сил освободиться от парализующей волю апатии. «Кому? Для чего *все это* нужно?» — в голову лезли вопросы, отвечать на которые предельно откровенно, с большевистской честностью и прямоотой не то чтобы не хотелось, а было попросту страшно, поскольку, под «*всем этим*» в данном случае подразумевались не только бред отлетавшего сновидения или передраги в личной судьбе, но и наиважнейшее — основы советского строя. Мучимый тяжким экзистенциальным похмельем, Рогов с трудом подавлял желание выбросить в мусорное ведро политпросветовские брошюры; в душе поселялось искушение послать к черту никем не разделенные, но хранимые с упорством монаха-отшельника убеждения; хотелось запросто выйти во двор, посудачить со старушками у подъезда, перекинуться веселыми приветствиями с соседями, спешащими на работу, напутствовать шагающих в школу детей... Чтобы преодолеть приступ этой обывательской слабости, требовалось завести пластинку с голосом Владимира Ильича; возвращали присутствие духа также и жизнеутверждающие выпуски новостей, звучавшие по радио, пока Рогов завтракал. Только после такой идеологической инъекции он настраивался на приближающийся победу коммунизма ударный труд и отправлялся на стройку.

Шли месяцы, а Рогов по-прежнему болезненно переживал свою полную отставку от политики. Он упорно старался докопаться до истинных причин обструкции, устроенной ему в Народном университете, скрупулезно анализировал детали произошедшего, и со временем окончательно убедился в том, что единственная его вина состояла в стремлении на равных беседовать со жрецами идеологии, в желании самочинно ворваться в круг посвященных. Рогов в глубине души даже соглашался с тем, что не имел на это полного права. Возможно, разрешение на допуск в святая святых ему только еще надо было заслужить каким-нибудь подвигом либо послушанием. Но следовало ли наказывать за романтический энтузиазм с такой жестокостью, как это произошло в данном случае? Следовало ли превращать восторженного, готового на жертвенность союзника в стороннего наблюдателя, если не во врага? Следовало ли отлучать от животворной идеологии представителя класса-гегемона, именем коего, между прочим, и свершалось грандиозное дело социально-исторического преобразования человечества?

Постепенно горькие сетования на нечуткость политпросветчиков уступили место изумлению на грани негодования: насколько же надо быть ограниченным, чтобы рубить сук, на котором сидишь?! Как можно объявить себя наследниками несметного богатства, кладези мудрости и столь бездарно распорядиться доставшимся сокрови-

чем? Это все равно, как если бы апостолы спрятали от христиан Библию и, вместо того чтобы обращать людей в свою веру, основывать Церковь, предали бы бесконечным беседам, убеждая друг друга в верности учения.

На следующем этапе нездоровой рефлексии по поводу изгнания из храма марксизма-ленинизма Рогова вдруг осенило: а что если дело не в узколобости, не в душевной черствости, а в злом умысле? Ну, конечно! В доме партийной пропаганды засели враги революции! Да-да! Самые что ни на есть настоящие предатели, неведомо каким образом сохранившиеся в ВКП(б)-КПСС после всех чисток, оппортунисты, стремящиеся оторвать пролетариат от теории классовой борьбы. Стало абсолютно понятно, что Рогов остался единственным и последним верным ленинцем. Теперь только на него была надежда, только ему дано открыть всю мощь мысли Ильича и в новых исторических условиях по-новому, творчески применить на практике великие прозрения классика.

Но как действовать в сложившейся обстановке? Как найти и организовать единомышленников, без которых никогда не раскрыть сокровенную тайну ленинизма? Даже в родную первичку хода нету, не говоря уже о доступе к партийной печати...

Многое передумав, Рогов открыл для себя принцип... Как бы это сказать?.. Принцип прямого воздействия. Необходимо отказаться от такого громоздкого передаточного механизма, каковым является погрязший в комчванстве партийный аппарат, и перейти к непосредственному обсуждению с товарищами ключевых вопросов политической жизни. Именно через неформальную работу легче всего будет выполнить миссию, к которой Рогов призван самой судьбой: зажечь народ энтузиазмом, сплотить и возглавить массы и продолжить революцию «снизу».

Чая скорых кардинальных преобразований, Рогов как истый большевик решил начать с самого себя, со своего трудового коллектива. Вот здесь-то, на стройке, поймут, поддержат, доверятся. А проблем сколько! О них только и говорят рабочие! Возьмем хотя бы недобросовестность в труде, ставшую притчей во языцех. Чтобы с собственным разгильдяйством бороться, никто посторонний не нужен — ни парторг, ни прораб. Сами же и исправим!

Руководствуясь классовым чутьем, но нарушая, конечно, при этом принцип демократического централизма, Рогов без согласований с кем-либо возложил на себя обязанности председателя и единственного пока члена негласной комиссии рабочего контроля. Зная о том, что на его строительном участке со дня на день будет введен в эксплуатацию жилой дом, Рогов явился туда, опередив госприемку, и приступил к инспектированию. В первой же квартире обнаружили явные недостатки: двери совершенно не были подогнаны — кое-где не закрывались, а в других местах кособочились, оставляя гигантские щели. Рогов разыскал в соседней квартире отделочников и обратился к ним прямо: «Товарищи! На этой жилплощади будет жить наш, советский человек. Возможно — рабочий, как вы и я. Но и в любом случае, даже если сюда вселится интеллигент, согласно моральному кодексу строителей коммунизма, человек человеку друг, товарищ и брат. А своему брату вы такие двери не навесили бы. Короче: вы допустили брак в работе. За свой счет переделайте двери и устраните недостатки в порядке пролетарской сознательности». Рогов говорил твердо, даже жестко. В этот момент он представлял себя комиссаром в кожанке; через плечо — маузер в деревянной кобуре, за спиной развевается алое полотнище с золотыми буквами: «Свобода. Равенство. Братство».

Жаль, что маузера в действительности не случилось под рукой — может, не так сильно отлупили бы Рогова работяги, вмиг вскипевшие от неслыханной наглости самозванного проверяльщика. И хорошо, что прибежали на крики женщины-штукатуры, работавшие этажом выше, вынули Рогова из драки, поуспокоили озверевших мужиков.

...Пока не закрыли больничный, Рогов, ужасно страдая от вынужденного бездей-

ствия, не выходил из дома. Он бесцельно слонялся по квартире, часто забредал в ванную, чтобы похлебать холоденькой водички из-под крана, и каждый раз собственное отражение в осколке зеркала, закрепленном над раковиной на случай бриться, невольно заставляло его содрогнуться. «Да, здорово тебя отделали отделочники,— невесело каламбурил Рогов.— За плохо навешенные двери таких... навешали... Ну и рожа: смотреть страшно...»

Голова побаливала, и думать ни о чем не хотелось, а обмозговать надо было очень многое, дабы уяснить, наконец, что же пошло не так... Это на Рогове лежит какое-то проклятие, постоянно мешающее добиваться намеченных результатов, или целеполагание им изначально производится ошибочно? Считать себя непутевым и никчемным человеком, конечно, крайне неприятно. Ну а предположить, что мировоззренческая платформа, на которой он неколебимо утвердился, содержит неустрашимый изъян — попросту жутко. Это равнялось бы утрате смысла жизни.

Впрочем, к тому все и шло, ибо реальная жизнь раз за разом грубо, но неопровержимо доказывала, что принципы, ставшие для Рогова всеобщим мерилom, на самом деле абсолютom не являются. А вспоминая слова Маркса о том, что практика — лучший критерий истины, Рогов понимал, что оказался в какой-то логической ловушке, выбраться из которой никак не удавалось из-за частых головокружений.

Черепная коробка гудела, словно уставшая трансформаторная будка у высоковольтной ЛЭП, и, чтобы не допустить замыкания, Рогов вырубил на хрен причинно-следственную схему, доводившую его до иступления постоянными сбоями, и доверился интуиции. Тогда во внезапно наступившей расслабляющей интеллектуальной тишине вдруг с наглядностью букваря открылось, что все столь болезненные для правого коммуниста искажения учения связаны с трагическим несовершенством мира и, прежде всего, человеческой природы.

Классики рассчитывали на сознательность пролетариата, а у большинства этой сознательности хватает лишь на час-два, пока сидят на партсобрании. Для окончательной победы от марксиста требуются самоотверженность и самодисциплина, но мало кто из наших изнеженных современников может похвастаться вышеозначенными качествами. Чтобы добиться великих свершений, нужно дать небывалый простор историческому творчеству масс, но, похоже, творчество массовым не бывает, оставаясь уделом одиночек, подобных Рогову.

Это в первые годы революции рабочий класс фонтанировал социальной импровизацией, изобретательностью, раскрепощенностью; да вот только, как ни грустно, исеякает такой фонтан в историческом масштабе просто моментально, и чем дальше от нас Великий Октябрь, тем гуще заиливается источник энтузиазма.

Да и руководство партией, если уж честно говорить, несколько десятков лет назад перешло к ренегатам, не способным ни увлечь за собой, ни повести к героическим свершениям, ни вдохновить на подвиги. По-барски вальяжный, но теряющий остатки здравого смысла и членораздельность речи Брежнев, засушенный со сталинских времен, словно вобла, хранимая на случай войны, Суслов, Романов, про которого поговаривали, что привык он есть и пить из царской посуды, «и другие члены Политбюро ЦК КПСС» — разве можно всех их считать пламенными революционерами, ставящими дерзкие задачи глобального характера?!

Аппаратчики среднего звена... Те и вовсе почитают идеологическую работу едва ли не помехой, отвлекающей от бесконечной, заедающей, но насущной текучки, которая, по сути, и является их первостепенной обязанностью; в лучшем случае от теоретической базы не отмахиваются, но игнорируют, как никчемный музейный экспонат, вроде побитой молью старой буденовки на манекене, выставленном за пыльным стеклом... Аппаратчикам среднего звена доступны лишь подковренная возня да тихие номенклатурные радости.

А рыба-то гниет с головы... Вот откуда в нашем обществе все эти отвратительные приметы мельчания и перерождения большевиков: засилье бездумных начетчиков в директивных органах; безнаказанность разгильдяев и взяточников с партбилетами, засевавших повсюду, в том числе в СМУ, где работал Рогов; кумовство, вкусовщина, некомпетентность, волюнтаризм... Но страшнейшая угроза социалистическому строю даже не в этом, а в том, что широкие народные массы оказались дезориентированы, настроены безразлично или даже скептически по отношению к государственной идеологии.

«Не на что, не на кого опереться,— констатировал Рогов с бесстрастностью человека, дошедшего до крайнего предела отчаяния.— Ни одного общественного или государственного института не осталось, не затронутого гниением. Все пора менять! Как в гимне партийном поется: все сломать до основания, а затем...» Парадокс: во имя спасения советской власти следовало ее разрушить.

От этих мыслей противно становилось до тошноты, причем периодически накачивавшие приступы вызваны были не столько недавними побоями, сколько тягучим ощущением безысходности. Рогов чувствовал себя беспомощным маленьким засранцем, не способным ни в теоретической подготовке, ни в конкретной работе добиться успеха. В глубине души он даже радовался тому, что из-за расплывшихся по физиономии безобразных фиолетовых кровоподтеков не мог выходить на улицу, и поэтому на какое-то время прервались вечерние свидания с каменным Лениным: с таким самоощущением предстать пред монументальным ликом вождя было решительно невозможно.

Когда же иссиня-черные гематомы сменили цвет на мертвенно-желтый, когда Рогов перестал пугаться своего отражения в зеркале, новый план спасения социалистического отечества был готов. Рогов учел все прежние ошибки. Нельзя уходить в излишнее теоретизирование, нельзя апеллировать к неподготовленной массе, нельзя действовать наскоком: слишком глубоко пустили корни в народном сознании оппортунизм и безыдейность, филистерство и цинизм. Надо проводить агитацию исподволь, по одному привлекать на свою сторону рабочих, постепенно создавать полуподпольную организацию и, опираясь на проверенных идейных соратников, противостоять ползучей контрреволюции.

Рогов начал реализовывать намеченную программу незамедлительно, сразу же после выхода на работу. Знаменитый ленинский вопрос «С чего начать?» в данном случае звучал как «С кого начать?», и первый кандидат на посвящение в орден спасителей революции был уже определен: водитель самосвала Колобанов. Тот не только трудился в одном СМУ с Роговым, но и был соседом по подъезду, то есть мог находиться под наблюдением практически постоянно. Колобанов работал неплохо, почти не пил... Рогов посчитал, что самосвальщик по всем параметрам подходит для того, чтобы распространить его в духе своих убеждений. Однако, наученный горьким опытом, Рогов решил не оглушивать простого шофера высокопарными фразами или умозрительными рассуждениями, а сперва сблизиться с ним, затронуть лучшие струны его души и только после этого сделать поборником чистоты и величия советской власти.

И вот кропотливая работа по оболыщению и обращению Колобанова началась. Словно влюбленный юноша, поджидающий свою избранницу, каждое утро караулил Рогов шофера за углом соседнего дома. Боясь опоздать к выходу коллеги, Рогов всегда торопился занять свой пост, поэтому выскакивал из подъезда, продолжая дожевывать завтрак. Минуты ожидания так и запомнились Рогову — по долго державшемуся во рту привкусу острой и сытной яичницы, этого дежурного холостяцкого блюда, обязательного, как услышанные за едой последние известия о введении в строй еще одной домны и о визите в Москву еще одного руководителя еще одной братской страны.

Очень скоро Рогов досконально изучил все привычки будущего сознательного пролетария, пока даже не подозревающего, каким невероятным доверием его вскоре ошастливят. Колобанов сначала выпускает из парадного клуб табачного дыма и лишь затем выходит сам. На секунду задержавшись на крыльце, чтобы посмотреть на небо и прикинуть, какая погода его ждет сегодня, он делает очередную глубокую затяжку, отшвыривает в пространство горелую спичку, широкими шагами обходит палисадник, поворачивается лицом к фасаду дома (с этой точки видно окно его кухни) и машет рукой жене и детям, выглядывающим в неубранном утреннем виде из-за кокетливых шторок. Рогов, стыдливо прячущийся от Колобановских домашних, словно тайная любовница, коварно посягнувшая на их кормильца, дожидается, пока шофер скроется за дальним углом дома, и только тогда, торопливо пробежав чужим двором, нагоняет приятеля.

Водитель самосвала приветствует Рогова неизменной фразой: «Здорово, сосед!» Они пожимают друг другу руки, и начинается их совместный путь на работу. Рогову приятно идти рядом с жизнерадостным балагуром. Колобанов всегда излучает спокойную уверенность хозяина, твердо стоящего на ногах, его суждения обычно по-житейски мудры, замечания стоически остроумны. Рогов уже после нескольких бесед чутко уловил некий неформленный пока в законченное суждение критицизм Колобанова по отношению к окружающей действительности, лишний раз убедился, что материал для пропаганды подобран благодатный. Огорчало только то, что Колобанов очень уж врос корнями в быт, не было в нем никаких философских устремлений, а, напротив, развито апатичное равнодушие к теоретизированию. Колобанов даже не задумывался о том, чтобы соотнести свою жизнь с какой бы то ни было схемой. Теории и теоретики существовали в другой плоскости бытия, про которую Колобанов знать не хотел, которая была до зевоты скучна.

Зато как вдохновенно говорил он о своем садовом участке! Дача являлась для Колобанова главным делом жизни, глотком свободы, местом, где он волен решать все самостоятельно. Там находилось строение («дом») и насаждения, которым Колобанов был владельцем; там на три стороны обитали соседи, с которыми приятно общаться на темы о шести сотках, а иногда — выпивать. Там стояла беседка, увитая лозами какого-то северного винограда, вокруг беседки — несколько кустов шиповника, растения не только чрезвычайно полезного, но и похожего на розовые кусты. Это был райский уголок, исчерпывающий эстетические запросы хозяина. Кроме того, дача имела большое значение в рационе питания семьи Колобановых. Жена шофера знала великое множество рецептов домашнего консервирования и добилась весомого авторитета в вопросах засолки и маринования среди женщин дачного кооператива. Сам Колобанов с удовольствием помогал супруге «закатывать банки», а во время, скажем, новогоднего застолья с гордостью почти сатанинской предлагал гостям разноцветные блестящие закуски «со своего огорода». Летом же Колобанов любил сорвать с плети огурец или яблоко с ветки да так смачно хрустнуть плодом, что казалась: трещат устои социалистической экономики.

Садовод-любитель с такими сочными подробностями рассказывал о своем увлечении, с таким напором, с такой непоколебимой уверенностью в безусловной важности для всех окружающих каждой мелочи, касающейся его дачки, что Рогов, первоначально брезгливо вникавший в садово-огородную тематику (частнособственническая отрыжка!), в какой-то момент стал замечать, что происходящее на Колобановском участке ему безразлично. Рогов с неожиданным для самого себя интересом воспринял массу абсолютно не нужных ему сведений о саженцах, опылении, окучивании, подкормке и черт знает о чем еще, с изумлением узнал, что навозные кучи имеют исключительную ценность, и вместе с новым приятелем ломал голову над тем, как бы поскорее заменить несколько секций забора, обозначающего священные



границы Колобановской вотчины. И что странно: ни на одной из этих ежедневных бесед во время совместных походов на работу Рогов в течение нескольких месяцев ни разу не завел речь о самом важном, о том, ради чего, собственно, решил сблизиться с Колобановым.

На первых свиданиях казалось, что еще рано, надо попривыкнуть к малознакомому человеку, да и его приручить к себе; а потом почему-то стало стыдно прерывать смачные, обильно удобренные матерком, ветвящиеся многочисленными деталями монологи Колобанова своими анемичными репликами. Слушая опытного огородника, Рогов будто бы зарывался в жирную, злачную почву, изобиловавшую диковинными корешками и палочками, невиданными червячками и жучками, причудливыми россыпями песочка и глинки. Все это представляло собой странный мир, неведомый прежде Рогову и притягивавший таинственной прихотливостью. Против ожидания, Рогов не испытывал при своем идеологическом погребении ни страха, ни отвращения, наоборот, ощущал противостоестественный уют того места, где ему давно следовало обретаться.

Весьма вероятно, что со временем энергичный Колобанов и впрямь завалил бы Роговские замыслы словесным черноземом, по запасам коего он вполне мог считаться крупным землевладельцем. Возможно, азартному дачнику удалось бы безвозвратно увлечь коллегу и соседа новым путем, путем практического действия, столь привлекающего для каждого мужчины. Однако советское искусство вновь помогло своему рекруту удержаться на верных идеологических позициях. Однажды вечером, перечитывая для души Маяковского, Рогов наткнулся на строчку: «Опутали революцию обывательщины сети...» «Да ведь это же прямо про меня поэт написал! — с раскаянием осознал Рогов. — Я же какое великое дело задумал, а сам-то, сам-то! Поддался напору мещанства, в угоду неверно понятому товариществу фактически отказался от убеждений!» Тут что-то изнутри торкнуло не успевшую затвердеть скорлупу, нарощую вокруг большевицкой душеньки за время общения с Колобановым, прогнулась из-под треснувшей оболочки пролетарская сознательность и расправила крылья. А из осколков разбитого филистерства вытекла едкая идейная щелочь и прочистила все темные закоулки души, вытравила чужеродные новообразования беспринципности и соглашательства.

Показалось еще необходимее, еще важнее, чем это представлялось ранее, помочь Колобанову обрести верное и единственно правильное мировоззрение, ведь в личных беседах он раскрылся как отличный товарищ, прекрасный человек, которого, без всякого сомнения, стоило взять с собой «на разведку в поля». За время общения с Колобановым Рогов привык думать о нем, скорее, не как о соратнике по борьбе, а как о душевном друге. Нельзя таить от друга ценнейшее, что есть в твоей жизни — великое и непобедимое учение Ленина.

И вот, придя к такому выводу и устыдившись былой слабохарактерности, Рогов на следующее же утро решительно приступил к пропагандистской работе:

— Знаешь, хороший ты человек, но немного заразился вещизмом.

— Чего? — скорчил Колобанов уморительную гримасу.

— Вещизмом. Статью в «Правде» читал?

— Чего? — гримаса Колобанова стала настроенно-защитной.

Рогов объяснил, как опасны для пролетария собственнические инстинкты, как легко они приводят к правому уклону, как вреден уклонизм для развития и продолжения революции, как губительны для страны те идеологические уступки, на которые отваживается ныне руководство партии ради сохранения лояльности несознательного меньшинства.

После того как позиция собеседника оказалась обозначена столь недвусмысленно, Колобанов резко оборвал разговор. За внешней неказистой простотой своего парня обнаружилось вдруг истинное лицо Рогова, что стало крайне неприятной не-

ожиданностью, раздражало скрытой (отчего смятение лишь усиливалось) угрозой. Высказывания молчуна-притворщика вполне можно было расценить как провокацию, как попытку выведать тайные мысли соседа, а потому недавний приятель теперь представлялся коварным шпионом и доносчиком. Внезапно умолкший, обескураженный произошедшим, Колобанов всю дальнейшую дорогу ругал себя за неосмотрительность и болтливость. Не успел ли наговорить лишнего? Можно ли сказанное использовать против него, против его семьи? Эти вопросы надоедливыми мухами жужжали в голове. Потом шофер несколько успокоился: слишком откровенно выразился сам Рогов. Тут еще неизвестно, кто больше обнаружил крамольных мыслей, и кто кого потянет к ответу в случае чего.

Как бы то ни было, после того памятного разговора отношения соседей и сослуживцев стали меняться. Раньше Колобанову казалось, что он нашел в Рогове благодарного слушателя, который мало говорит, но сосредоточенно внимает, не перебивая, кивает головой, выражая тем самым искреннее сочувствие всем его дачным делам. Теперь вместо немногословного заединщика предстал снедаемый внутренним жаром спорщик, умевший о своем заветном рассказывать не менее увлеченно, чем Колобанов о грядках и парниках. Поневоле приходилось готовиться к ежедневным идеологическим диспутам, обдумывать доводы в защиту своей позиции. Делать это было неинтересно и утомительно, тем более что опыт дискуссий у Рогова был гораздо богаче, поэтому он раз за разом загонял Колобанова в интеллектуальный тупик. Однако пасовать перед тщедушным пропагандистом не годилось! Убежденный в своей правоте Колобанов, хотя не находил убедительных возражений на резоны Рогова, как умел отстаивал свое право на счастье, пропахшее удобрениями и заляпанное гумусом.

Обиднее всего казались Колобанову упреки в бескрылости и заскорузлости шестисоточных устремлений. Такие несправедливые обвинения мог высказать только человек, абсолютно не понимающий романтики садоводства и огородничества, ни разу не испытавший счастья сопричастности к таинству цветения и плодоношения, никогда не чувствовавший, как наворачиваются на глаза слезы умиления при взгляде на пробивающиеся из земли скромные росточки редиски. Нет, вдохновенный дачник умеет чувствовать глубоко, умеет, как никто другой, сопереживать жизни природы, умеет предаваться мечтаниям, не возносясь при этом в бесплодные эмпирии абстрактного мышления. И однажды на саркастическое замечание Рогова о том, что у Колобанова, мол, даже мечты никакой не имеется, тот с гордостью ответил:

— Есть. Есть у меня мечта!

— Ну, и какая? — заинтересовался Рогов.

— Чтобы мне вместо самосвала дали бортовую машину!

— Да какая разница?! — Рогов не мог не подивиться такому несерьезному ответу, но при этом все же не терял надежды на то, что собеседник, наконец, раскроется с неожиданной и благородной стороны. А вдруг за очевидной глупостью кроется какая-то обнадеживающая тайна? Может быть, Колобанов мечтает оказаться победителем социалистического соревнования среди водителей бортовых машин? Или в голове его созрело рационализаторское предложение, которое резко повысит производительность труда, и советские шоферы утрут нос Америке?

— На самосвал что грузят? — объяснял между тем Колобанов. — Песок, бетон. А на бортовых ребята то кирпич возят, то арматуру. Это же на даче гораздо нужнее. Потом: иногда чего по дороге завезешь на дачу — с самосвала сгружать неудобно, а с бортовой быстро поскидал за забор, да и поехал дальше. Внимания меньше, никто не заложит.

«Колобанов — вор, расхититель социалистической собственности», — взорвалось в мозгу у Рогова и засело навсегда саднящей занозой. Словно пелена спала с глаз: как же это он за все время общения не разглядел отщепенца, чуждого всем нашим идеа-

лам? Не хотелось верить, что свел дружбу с преступником, что связывал с этим человеком свои чистейшие чаяния, свои высокие помыслы.

Начиная со следующего утра, никто не дежурил за углом дома, где жил Колобанов, никто не поглядывал ревниво на его домочадцев, весело махавших хозяину из кухонного окна. Опустел секретный наблюдательный пункт... Рогов перестал догонять сослуживца по дороге на стройку, но, соблюдая строжайшую конспирацию, старался выследить шофера в рабочее время. Скоро стало ясно: Колобанов действительно прихватывает часть того, что перевозит на своем грузовике.

Уныние поселилось в сердце Рогова. Он не мог простить себе политической близорукости, не мог простить Колобанову его низости. Еще сильнее терзался Рогов оттого, что возникла неразрешимая этическая дилемма: как сознательный член партии он обязан был сообщить в компетентные органы о злодеяниях водителя Колобанова, а как революционер-романтик испытывал отвращение к доносу... И все-таки верх взяла совесть коммуниста, требовавшая оставаться принципиальным в любой ситуации, для пользы общего дела не жалеть ни себя, ни своих бывших товарищей. Придя к такому заключению, Рогов все-таки для проверки в последний раз задался вопросом: «Нужно ли доложить куда следует о хищениях Колобанова?» И ничто в душе его не дрогнуло при однозначном ответе: «Да!» Так для всех лучше будет, в том числе для Колобанова. Пусть остановит его твердая, но заботливая рука нашей милиции, пока алчность не толкнула несчастного в ряды врагов советской власти; пусть даже отбудет наказание, но не погибнет для общества окончательно. Рогов не стал бы поднимать шум, если бы украли что-то лично у него, однако дело касается общенародного богатства. За народ, за рабочий класс Рогов пойдет на все, никого не пощадит.

Осталось неизвестным, куда и к кому обращался Рогов; никто не мог бы сказать, когда и как накрыли Колобанова. Возможно, что за его самосвалом было установлено скрытое наблюдение и прихватили голубчика тепленьким, с поличным... Возможно, была лихая погоня и силовой захват при попытке выбросить арматуру, украденную с целью укрепления забора на дачном участке. Возможно, но вряд ли. Есть ли человек, не ворующий со стройки, на которой работает? Есть ли человек, не знающий, что строители тащат со стройки все, что под руку попадется?

Верней всего, что кто-нибудь из прорабов намекнул Колобанову: «Стучат на тебя». Может быть, показал ненароком Роговское заявление, если оно существовало, конечно... На какое-то время, от греха, перевели Колобанова из водителей в разнорабочие. Ничего особенного. Обычное дело. Однако Колобанов кипел возмущением, ведь его предали самым подлым образом. Даже если доподлинно не знал разжалованный шофер, кто сообщил начальству о его таком привычном, можно сказать, невинном воровстве, рассчитать, догадаться, что это был Рогов, разумеется, оказалось несложно. Колобанов люто возненавидел Рогова и каждому встречному-поперечному рассказывал о своем праведном гневе.

Рогов видел, как вокруг него постепенно возводится непреодолимая стена отчуждения. Рогов чувствовал, что для всех, от продублированных на десятках объектов бетонщиков до зеленого помощника крановщика, он стал врагом, что на многолюдной стройке оказался трагически одинок. Рогов ощущал, что превратился в человека-невидимку, которого то будто бы не замечают, то сознательно игнорируют, то с угрозами гонят.

Все это Рогов переживал крайне болезненно, но причин для столь решительного и единодушного общественного неприятия своего поступка, по совести сказать, не находил. Прав был он, а не разложившийся под влиянием круговой поруки и всепроникающей контрреволюции коллектив. По самому большому счету Рогов был прав. С горечью осознавая степень творившейся несправедливости, на крепчающем морозе абсолютного одиночества он сознательно растревлял в душе ответную ненависть к

отступникам. Не мог простить им слепой филистерской уверенности в собственной правоте и Роговской подлости. Не мог смириться со всеми их дачками и халтурками, не мог забыть им кровного интереса к шубам и гарнитурам, не мог извинить за неизбывную тоску по дефицитной колбасе и за полное равнодушие к пока еще открытой, но час за часом упускаемой возможности стать честнее, бескорыстнее, справедливее.

Два встречных потока враждебных энергий сшиблись, закрутившись в мощнейшие ментальные вихри, которые грозили полным разрушением личности. Очевидно, во имя сохранения психического здоровья Рогову следовало немедленно уходить с работы, ибо изменить сформировавшееся мнение о себе он был не в силах. И так удачно сложилось, что как раз в этот момент Рогову предложили должность мастера производственного обучения в строительном профтехучилище. И Рогов согласился. В окладе он проигрывал, но условия труда были лучше: не надо ежедневно лазить на верхотуру равнодушных отвесов кирпичных стен, не надо горбатиться целыми днями на ветру, да на холоде, да в непогоду. Но больше всего привлекла Рогова возможность общения с юношеством. На бывшего каменщика словно озарение снизошло: «Точно! С молодежью надо работать! Взрослые заросли жирком быта, накопительский инстинкт застит им глаза, они не видят важного в жизни. А люди молодые, трепетные романтические души станут нерушимым оплотом истинного ленинизма!»

Какой удар ждал новоявленного наставника молодежи! Какое чудовищное разочарование! Учащиеся ПТУ оказались гораздо тупее и равнодушнее своих отцов со стройки. «Пэтэушники» навсегда остались для Рогова воплощением циничной жестокости и глухого безразличия ко всему, что выходило за рамки их мелочных, низменных интересов, а интересы их были: импортная одежда, зарубежные музыкальные ансамбли, пьянство и курение. На первом же занятии начинающий педагог словно под дых получил. Пришел он к подросткам с открытой душой, с улыбкой на устах. Прежде чем рассказать о секретах прекрасной профессии каменщика, решил прочесть лекцию о значении стройиндустрии в системе народного хозяйства. Готовился. Делал выписки из трудов Ленина. Сам проникся, какая, оказывается, замечательная у него специальность. И ни до одного ребятенка не достучался. Их прыщавые глуповатые лица мгновенно подернулись сонным равнодушием, лишь только прозвучали слова «КПСС» и «социалистическая экономика». С задней парты кто-то ломким баском полусетал: «Во! Пошло говно по трубам!»

Вот тут-то все и кончилось. В душе Рогова что-то непоправимо оборвалось. При чем поразило его не столько незаслуженное, абсолютно беспричинное оскорбление, сколько чудовищное несоответствие между мечтаниями и реальностью. От одного слова возвышенные упования разбились вдребезги, и этого предательства, этой подлости он никогда не смог простить молодежи. Так с первого же дня повелось, что на занятиях у Рогова он был сам по себе, а учащиеся — сами по себе.